

Книга первая

I.

Так как нам не известно, чтобы кто-нибудь раньше нас излагал учение о народном красноречии¹, а таковое именно красноречие, мы видим, совершенно необходимо всем, потому что им стремятся овладеть не только мужчины, но даже женщины и дети, поскольку оно им по природе доступно, то, желая как-нибудь просветить рассудок тех, кто, точно слепцы, бродят по улицам, постоянно принимая то, что спереди, за то, что сзади, мы, по внушению Слова с небес, попытаемся помочь речи простых людей, не только черпая для столь объемистого сосуда воду нашего ума, но смешивая лучшее из полученного им или заимствованного у других, дабы могли мы отсюда напоить жаждущих сладчайшим медвяным питьем. Но потому, что всякое учение надо не только показать, но и раскрыть его предмет, чтобы стало известно, чем оно занимается, мы заявляем, сразу приступая к делу, что народной речью называем ту, к какой приучаются младенцы от тех, кто при них находится, как только начинают они разбираться в словах; или, короче говоря, народной речью мы считаем ту, какую воспринимаем, подражая кормилице без всякой указки. Есть затем у нас и вторичная речь, которую римляне называли грамотной. Такая вот вторичная речь имеется и у греков, да и у других народов, но не у всех; навыка в этой речи достигают немногие, потому что мы ее выравниваем и обучаемся ей со временем и при усидчивости. Знатнее же из этих двух речей народная²; и потому, что она первая входит в употребление у рода человеческого, и потому, что таковою пользуется весь мир, при всем ее различии по выговорам и словам, и потому, что она для нас естественная, тогда как вторичная речь, скорее, искусственная. Об этой знатнейшей речи мы и намерены рассуждать.

II.

Это наша истинная первая речь. Однако я не говорю «наша» так, будто есть и другая речь кроме человеческой; ибо из всех существ речью одарен один только человек, потому что единственно ему была она необходима. Ни ангелам, ни животным не было необходимости в речи; это было бы для них напрасным даром, а делать так, конечно, противно природе. Ибо если мы внимательно рассмотрим, к чему мы стремимся в нашей речи, то, очевидно, не к чему иному, как открыть другим мысль, зародившуюся в нашем уме. А раз ангелы для раскрытия благочестивых своих мыслей обладают быстрее и несказанной способностью разумения, благодаря которой полностью извещают друг друга либо самостоятельно, либо посредством того светозарнейшего зеркала, в коем все они отражаются во всей красоте и которое они ненасытно созерцают, то, очевидно, не нуждаются ни в каком знаке речи¹. А коль укажут на падших духов, ответить можно двояко: во-первых, так как мы рассуждаем о том, что потребно на благо, мы должны их обойти, раз они в своем извращении не захотели уповать на Божественный промысел; либо, во-вторых, и это лучшее, что сами демоны для выявления взаимного своего коварства не нуждаются ни в чем, кроме как в том, чтобы каждый из них знал о каждом, что он существует и какова его сила; а это-то они знают, ибо они взаимно познали себя до своего падения². Так же и для животных, раз они руководимы единственно природным чутьем, не надобно было заботиться о речи; ибо у всех принадлежащих к одной и той же особи действия и страсти одинаковы, и, таким образом, по своим собственным они могут

познавать и чужие; а принадлежащим к различным особям речь не только не была необходима, но была бы совершенно губительна, так как между ними не было бы никакого дружественного общения. А коль укажут на змия³, обратившегося с речью к первой женщине, или на Валаамову ослицу⁴, которые говорили, мы ответим на это, что ангел в ней и дьявол в нем действовали таким образом, что двигали органами этих животных так, что у них получался членораздельный голос, наподобие настоящей речи; у самой же ослицы не получилось бы ничего, кроме рева, и ничего, кроме свиста, у самого змия. Если же кто-нибудь доказывал бы обратное, ссылаясь на слова Овидия в пятой книге «Метаморфоз»⁵ о говорящих сороках, мы заметим, что это выражено иносказательно, а подразумевается другое. И если скажут, что и досель сороки и другие птицы разговаривают, мы скажем, что это вздор, так как подобное действие не речь, а некое подражание звуку нашего голоса; они, разумеется, пытаются подражать нам, поскольку мы издаем звуки, но не поскольку мы говорим. Поэтому, если в ответ на отчетливо сказанное слово «сорока» прозвучало бы «сорока», это было бы лишь воспроизведением или подражанием ранее произнесенному звуку. Таким образом, очевидно, что речью был одарен только человек. А почему это было ему необходимо, мы вкратце постараемся разъяснить.

III.

Итак, раз человек движим не природным чутьем, но разумом, а сам разум либо по суждению, либо по выбору различен у отдельных людей до такой степени, что почти каждый человек, видимо, радуется этой своей особенностью, мы полагаем, что никто не понимает другого по своим собственным действиям или страстям, подобно бессловесному животному¹. Но и по духовному созерцанию людям не удается постигать друг друга, подобно ангелам, так как душа человеческая объята грубой и темной оболочкой смертного тела². Следовательно, роду человеческому для взаимной передачи мыслей надобно обладать каким-либо разумным и чувственным знаком; потому что для восприятия от разума и для передачи разуму знак должен быть разумным; а так как ничто не может быть передано от разума к разуму иначе чем чувственным средством знак должен быть чувственным. Таким образом, если бы он был только разумным, он не мог бы проникать, а если бы только чувственным, его невозможно было бы воспринять разумом ни в разум вложить. Вот этот-то знак и есть тот самый разумный предмет, о котором у нас идет речь: он чувственный, поскольку он звук, но и разумный, поскольку, очевидно, обозначает то, что нам угодно.

IV.

Речь, как явствует из вышесказанного, дана была только человеку. Теперь же я считаю необходимым исследовать, какой человек получил дар речи и что он прежде всего сказал, и кому, и где, и когда, а также и то, какой язык является изначальным. И вот, согласно тому, что сказано в начале Бытия, где Священное писание повествует о начале мироздания, оказывается, что раньше всех заговорила женщина, а именно предерзостная Ева, отвечая любопытствующему дьяволу: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть»¹. Но хотя, согласно Писанию, оказывается, что прежде заговорила женщина, нам, однако, разумнее верить, что прежде заговорил человек; и несообразно полагать, что столь

замечательное действие рода человеческого проистекло раньше не от мужа, но от жены. Итак, на основе разума мы веруем, что речь сначала была дарована Адаму, тотчас по воплощении его Творцом. А относительно того, какое слово прежде всего произнес первый заговоривший, я не колеблясь скажу, что это слово значило Бог, то есть Эль², либо в виде вопроса, либо в виде ответа. Нелепо и явно противно разуму полагать, что человеком было названо что-либо раньше, чем Бог, потому что Им и по Его образу и подобию был сотворен человек. Ибо, как после грехопадения рода человеческого речь каждого человека стала начинаться с «уввы», так, разумеется, появившийся до этого начал с радости; а так как никакой радости нет вне Бога, то вся она в Боге и Сам Бог есть всецело радость; из этого следует, что первый заговоривший сперва и прежде всего сказал «Бог». Отсюда, раз выше мы говорим, что первый человек начал свою речь с ответа, возникает и такой вопрос: был ли это ответ Богу; ибо если Богу, то Он, очевидно, оказался бы говорившим, что, видимо, противоречит высказанному выше. На это, однако, мы говорим, что вполне возможно было ответить на вопрос Бога и не следует из этого, что Бог говорил посредством того, что мы называем речью. Ибо кто же сомневается, что все существующее склоняется пред волею Бога, Коим все и создано, Коим сохраняется, Коим также все управляется? Следовательно, раз властью низшей природы, служительницей и творением Бога, движется воздух с такими мощными изменениями, что гремит громом, сверкает молнией, изливается водой, сыплет снегом, мечет градом, то не подвигнется ли он властью Бога к звучанию некими словами, коль разделяет их Тот, Кто разделил и большее? Разве не так? Итак, мы уверены, что и на это, и на другое дан достаточный ответ.

V.

Полагая же не без разумных оснований как по низшим, так и по высшим явлениям, что первый человек прежде всего обратил речь к Самому Богу, мы разумеем, что он, сначала заговорив сам, затем незамедлительно продолжал говорить, будучи вдохновлен одухотворяющей Добродетелью. Ибо мы полагаем, что человеку более человечно быть услышанным, чем слушать, лишь бы его слушали и он слушал как человек. Следовательно, если Тот, Кто есть Творец, и Начало совершенства, и Любовь, исполнил Своим дуновением первого из нас всяческого совершенства, мы ясно понимаем, что благороднейшее живое существо не прежде начало слышать, чем было услышанным. Если же кто-нибудь, возражая нам, укажет, что нецелесообразно было ему говорить, так как он был пока единственным человеком, а Бог без слов постигает все наши тайны даже раньше нас, то мы с должным при суждении о вечной воле благоговением говорим, что, пусть даже Бог ведал или, вернее, предведал (а это для Бога одно и то же) помыслы говорящего вне его речи, Он позволил, однако, и ему говорить, дабы в изъяснении столь великого дарования прославился и Сам благостно одаривший. И отсюда мы можем вполне определить то место, где впервые раздалась речь; ибо если человек был одухотворен вне рая, то вне его, если же в нем, то, несомненно, в нем и было место первой речи.

VI.

Ввиду того что люди, общаясь между собою, пользуются очень многими и различными языками, из-за чего многие и при многословии не иначе понимают друг друга, как и без слов, следует нам проследить тот язык, которым, наверно, пользовался человек без матери, без ее молока, не знавший ни младенчества, ни юности¹. В этом, как и во многих других

отношениях, для большей части сыновей Адама отечеством является некий преславный город Пьетрамала². Ибо у всякого разум бывает столь извращен, что он уверен, будто самое очаровательное место под солнцем - это место его рождения, и к тому же всякий превозносит свое собственное наречие, то есть материнскую речь, перед всеми остальными, считая, таким образом, его тем самым, на котором говорил Адам. Но мы, кому отечество - мир, как рыбам море³, хотя мы еще беззубыми пили из Арно и так любим Флоренцию, что ради этой любви сносим несправедливое изгнание, - мы опираем устои нашего суждения больше на разум, чем на чувство. И хотя для нашей услады и душевного покоя нашего не существует на земле места прелестнее Флоренции, мы, перечитывая сочинения и поэтов, и других писателей, которые описывают мир и в целом, и по частям, и размышляя о различных местностях мира и о расположении их относительно обоих полюсов и экватора, определяем и твердо решаем, что есть много как областей, так и городов более замечательных и более очаровательных, чем Тоскана и Флоренция, которой суждено мне быть и сыном и гражданином, и множество племен и народов, говорящих на более сладостном и полезном языке, чем италийцы⁴. Итак, возвращаясь к нашему замыслу, мы утверждаем, что определенная форма речи⁵ была создана Богом вместе с первой душой. Я говорю «форма» и в отношении наименований вещей словами, и в отношении строения слов, и в отношении их выговора; и эта форма применялась бы во всяком языке говорящих, если бы не распалась по вине человеческой самоуверенности, как будет показано ниже. Этой формой речи говорил Адам; этой формой речи говорили все его потомки вплоть до строения башни Вавилона, что означает башню смешения; эту форму речи унаследовали сыны Евера, называемые поэтому Евреями. После смешения она сохранилась только у них, дабы Искупитель наш, вознамерившийся из человеколюбия родиться у них, пользовался не языком смешения, но благодати. Итак, еврейский язык был тем, какой издали уста первого говорящего.

VII.

Стыдно, увы, вспоминать ныне нечестие рода человеческого! Но потому, что мы не можем обойти его и миновать, хотя и заливают нас краска стыда и противится душа, мы бегло коснемся его. О природа наша, всегда склонная ко грехам, о изначально и никогда не укротимая нечестивица! Не довольно ли было тебе наказания, когда ты, омраченная первым грехопадением, была изгнана из родины радостей¹? Не довольно ли, что из-за повальной развращенности твоего рода, когда спасен был один-единственный дом, все тебе подвластное погибло в потоке и за твои преступления поплатились еще и небесные и земные животные? Поистине этого было довольно. Но, говорит пословица, «треть его не обскачешь», - ты, несчастная, предпочла скакать на несчастном коне. И вот, читатель, человек, либо позабыв, либо не ставя ни во что предыдущие уроки и пренебрегая оставшимися синяками, в третий раз пошел на побои, упорствуя в своей горделивой глупости. Итак, в упорстве сердца своего возомнил нераскаянный человек по наущению великана Нимрода² превзойти не только природу, но и Самого Зиждителя - Бога - и начал воздвигать в земле Сеннаар, названной впоследствии Вавилон, то есть смешение, башню в надежде достигнуть неба и вознамерившись, невежда, не сравняться, но превзойти своего Творца. О безмерная милость небесной власти! Какой отец потерпел бы столько оскорблений от сына? Но, поднимая на него бич не вражеский, но отчий и привычный в другой раз к ударам, карал мятежного сына благим, да и памятным уроком. И вот весь почти род человеческий сошелся на нечестивое дело: те отдавали приказания, те делали чертежи, те возводили стены, те выравнивали их по линейкам, те выглаживали штукатурку, те

ломали камни, те по морю, те по земле с трудом их волокли, а те занимались всяческими другими работами, когда были приведены ударом с неба в такое смешение, что все говорившие при работе на одном и том же языке заговорили на множестве разнородных языков, работу прекратили и больше уже не могли столкнуться. Ведь только у занятых одним каким-нибудь делом удержался один и тот же язык³, например один у всех зодчих, один у всех перевозчиков камня, один у всех каменотесов, и так случилось со всеми по отдельности работниками. И сколько было различных обособленных занятий для замышленного дела, на столько вот языков и разделяется с тех пор род человеческий; и насколько какие превосходнее работали, настолько неотесаннее и грубее их речь. А у которых сохранился священный язык, те и не присутствовали и не одобряли затеянного, но с глубоким отвращением осмеивали глупость работающих. Но эта наименьшая по количеству часть была, как я заключаю, от семени Сима, третьего сына Ноя; из нее-то и произошел народ Израиля, говоривший на древнейшем языке вплоть до своего рассеяния⁴.

VIII.

Мы не легкомысленно полагаем, что после вышеуказанного смешения языков люди тогда впервые рассеялись по всем поясам мира для заселения областей и отдаленных мест этих поясов. И так как изначальный корень рода человеческого был посажен в краях восточных, наш род не иначе как оттуда распространился многообразно разросшимися ветвями в ту и другую стороны и протянулся наконец до западных пределов; тогда, быть может впервые, разумные уста напились либо из рек всей Европы, либо по крайности из некоторых. Но появились ли тогда впервые пришельцы или вернулись в Европу туземцы, но люди эти принесли с собою троякий язык; и одни из принесших его выбрали себе в Европе южную область, другие - северную, а третьи, которых мы теперь называем греками, заняли частью Европу, частью Азию. Впоследствии от одного и того же языка, полученного при возмездии смешением, повели начало различные наречия, как мы покажем ниже. Ибо все пространство от устьев Дуная или от Меотийских болот¹ вплоть до западных пределов Англии², ограниченное пределами итальянцев, французов и Океана,- область единого языка; хотя впоследствии через славян, венгров, тевтонов, саксонцев, англичан и множества других племен он разветвился на различные наречия. Признаком общего изначального единства только, пожалуй, и осталось у всех вышеупомянутых народов то, что почти все они при утвердительном ответе говорят «йо»³. Начиная от этого языка, то есть от пределов венгров, на восток занял другой все пространство, которое оттуда называется Европой, да заходит еще и дальше. А всю остальную часть Европы занимает третий язык, хотя теперь он и представляется трояким; ибо одни при утвердительном ответе говорят «ок», другие «ойл», третьи «си», а именно испанцы, французы и итальянцы⁴. И явным признаком того, что наречия этих трех народов происходят от одного и того же языка, служит то, что многое в них обозначается одинаковыми словами, как Deus, celum, amor, mare, terra, est, vivit, moritur, amat⁵, и чуть ли не все остальное. Но произносящие «ок» занимают западную часть Южной Европы, начиная от границ гетуэцев. А говорящие «си» занимают восточную - от указанных границ именно до того мыса Италии, которым начинается залив Адриатического моря⁶, и до Сицилии. Говорящие же «ойл» оказываются по отношению к ним северянами. Ибо с востока у них германцы, а с севера и запада они ограничены английским или французским морем и отделены горами Арагона, с юга же замкнуты провансальцами и склоном Пеннинских Альп⁷.

IX.

Нам, однако, следует подвергнуть испытанию высказываемое нами суждение, потому что мы беремся исследовать то, в чем мы не опираемся ни на чье веское мнение, то есть проследить расхождение, происшедшее в изначально едином языке. И ввиду того, что проходить более знакомыми путями надежнее и короче, мы будем исходить лишь из нашего собственного языка, оставив в стороне другие; ибо то, что служит разумной причиной в одном, представляется таковой же и в других. Итак, тот язык, о котором мы собираемся рассуждать, является, как сказано выше, трояким; ибо одни говорят «ок», другие «си», а третьи «ойл». А что это был единый язык в начале смешения (как указано раньше), явствует из того, что мы сходствуем во многих словах, как показывают знатоки красноречия; при этом такое сходство несовместимо с тем смешением, какое обрушилось свыше при Вавилонском столпотворении. Итак, знатоки трех языков сходятся во многих словах, и первым делом в слове «amor» («любовь»). Геральд де Брюнель¹:

«Sim sentis fezelz amics²,

Per ver encusera Amor».

Король Наваррский³: «De fin amor si vient sen et bontu»⁴. Господин Гвидо Гвиницелли⁵:

«Nu fa amor prima che gentil core.

Nu gentil cor, prima che amor, natura»⁶.

Исследуем же, почему, собственно, язык разделился на три и почему любое из этих разделений разделяется и в самом себе, например речь правой части Италии отличается от речи левой⁷, ибо по-иному говорят падуанцы и по-иному пизанцы; и почему даже близкие соседи различаются по речи, например миланцы и веронцы, римляне и флорентийцы, да и сходные по роду и племени, как, например, неаполитанцы и гаэтанцы⁸, равеннцы и фаэнтинцы⁹ и, что еще удивительнее, граждане одного и того же города, как болонцы Предместья Святого Феликса и болонцы с Большой улицы¹⁰. Причина всей этой разницы в речевых отличиях будет ясна на основании одного и того же рассуждения. Мы ведь утверждаем, что никакое действие не бывает вне зависимости от своей причины, поскольку оно действие, так как никакое действие не возникает из небытия¹¹. Следовательно, так как весь наш язык (кроме созданного Богом вместе с созданием первого человека) был переделан по нашему вкусу после того смешения, которое было не чем иным, как забвением первоначального языка, и так как человек существо крайне неустойчивое и переменчивое, то язык не может быть ни долговечным, ни постоянным, подобно остальному, что у нас имеется, например обычаям и одежде; должен изменяться в связи с расстоянием между местностями и течением времени. И не следует, я думаю, не только сомневаться в указанном нами «течении времени», но лучше, мы полагаем, иметь его в виду; ибо стоит нам покопаться в других наших делах, как становится ясно, что мы гораздо больше отличаемся от древнейших наших сограждан, чем от отдаленнейших современников. Поэтому мы смело свидетельствуем, что, если бы теперь воскресли древнейшие жители Павии, они говорили бы с нынешними ее жителями на языке особом и отличном¹⁷. И пусть не будет то, что мы говорим, более удивительным, чем увидеться с постаревшим юношей, которого мы не видели, как начал он приходить в возраст; ибо постепенного движения мы не замечаем; и чем больше времени требуется, чтобы заметить изменение предмета, тем более постоянным он нам представляется. И потому мы не удивляемся, если люди, по своим суждениям мало отличающиеся от бессловесных животных, считают граждан одного и того же города пользующимися всегда неизменной речью, так как перемены в речи одного и

того же города происходят постепенно и в течение далеко не малого времени, а жизнь человеческая по самой своей природе весьма кратковременна. Следовательно, если, как указано, у одного и того же народа происходят с течением времени последовательные изменения речи и она не может оставаться постоянной, то у обитающих отдельно и отдаленно друг от друга она непременно должна изменяться по-разному, подобно тому как изменяются обычаи и одежда, устанавливаемые не природой и не гражданской общиной, но порождаемые людскими вкусами и местным соглашением. Этим были обеспокоены изобретатели грамматической науки, так как грамматика есть не что иное, как учение о неизменном тождестве, независимом от разного времени и местности¹³. С тех пор как с общего согласия многих народов выработаны ее правила, она, очевидно, не подчинена никакому произволу отдельных лиц и вследствие этого не может быть изменяемой. А придумали-то ее для того, чтобы из-за изменчивости речи, колеблющейся по произволу отдельных лиц, мы никоим образом, хотя бы даже отчасти, не искажали установлений и деяний древних или тех, которые рознятся с нами разностью местожительства.

Х.

Ввиду того что наш язык является, как сказано выше, трояким, мы при сравнительной оценке его, поскольку он стал троезвучным, с такой робостью и нерешительностью приступаем к этому сопоставлению, что не осмеливаемся отдать предпочтения ни этой, ни той, ни другой его ветви, если только не принять во внимание, что основатели грамматики определили наречием утвердительным слово «sic», что, видимо, дает известное преимущество итальянцам, говорящим «си». В самом деле, каждая из ветвей отстаивает себя пространными доказательствами. Так, язык «ойл» свидетельствует в свою пользу, что благодаря его общедоступности и приятности все изложенное или сочиненное народной прозаической речью принадлежит ему, а именно: изложение Библии вместе с деяниями троянцев и римлян, и прелестнейшие приключения короля Артура¹, и многое множество других исторических и ученых сочинений. А другой язык, то есть «ок», доказывает в свою пользу, что мастера народного красноречия впервые стали сочинять стихи на нем, как на языке более совершенном и сладостном, как, например, Петр Альвернский и другие старейшие мастера². Так же и третий язык, итальянский, отстаивает свое первенство двумя преимуществами: во-первых, тем, что сочинители наиболее сладостных и утонченных стихов народной речью - его семейные и домашние, как Чино да Пистойя и его друг³; во-вторых, тем, что он является более основанным на всеобщей грамматике⁴, что для людей рассудительных служит самым веским доводом. Но мы, оставляя в стороне решение этого вопроса и ограничивая наше рассуждение народной итальянской речью, попытаемся говорить и о вошедших в нее различиях, да и сравнить их между собою. Итак, начнем с того, что Италия разделяется на две части - правую и левую. А на вопрос, где проходит черта раздела, мы кратко ответим, что по хребту Апеннина, с которого, точно с глиняного конька кровли, льется вода по противоположным желобам, струясь по длинным водостокам, согласно описанию Лукана во второй книге⁵; с правой стороны идет сток в Тирренское море, а с левой спускается в Адриатическое. И области по правой стороне - это Апулия, но не целиком, Рим, Сполетское герцогство, Тоскана и Генуэзская марка; по левой же - часть Апулии, Анконская марка, Романья, Ломбардия и Тревизская марка с Венецией. А Фриуль и Истрию можно отнести лишь к левой части Италии; острова же Тирренского моря, то есть Сицилию и Сардинию, - только к правой, присоединив их, пожалуй, к правой Италии. И на той, и на другой стороне, и в областях, к ним прилегающих, языки людские отличны; так, язык сицилийский отличается от апулийского, апулийский от римского,

римский от сполетского, а этот от тосканского, тосканский от гинуэзского, гинуэзский от сардинского, равно как калабрийский от анконского, этот от романьольского, романьольский от ломбардского, ломбардский от тревизского и венецианского, а этот от аквилейского и тот от истрийского. Мы думаем, никто из италиейцев не будет с нами в этом не согласен. Таким образом, одна только Италия разнится, очевидно, по меньшей мере четырнадцатью наречиями^б. Кроме того, и внутри всех этих наречий есть различия, как, например, в Тоскане между съенским и аретинским, в Ломбардии между феррарским и пьяченским; да и в одном и том же городе мы обнаруживаем некоторое различие, как мы указывали выше в предыдущей главе. Поэтому если бы мы захотели подсчитать основные, второстепенные и третьестепенные различия между наречиями Италии, то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы дойти не то что до тысячи, но и до еще большего множества различий.

XI.

Поищем же в этом многочисленном разнообразии разноголосой италийской народной речи достойнейшую и блистательную италийскую речь¹, а для того, чтобы иметь возможность проложить в наших поисках удобную тропу, очистим сначала лес от спутанных кустов и терновника. Итак, раз римляне полагают, что их надо ставить впереди всех, мы с полным основанием поставим их в этом искоренении на первое место, возражая против того, чтобы их не затрагивали при каком бы то ни было обсуждении народного красноречия. И вот мы утверждаем, что речь римлян - не народная, а, скорее, убогая - безобразнее всякой другой итальянской народной речи; да это и не удивительно, потому что и уродством своих обычаев и одежды они явно отвратительнее всех остальных. Вот они говорят: "Mezzure, quinto dici?" После них выдерем жителей Анконской марки, говорящих: "Chignamente, frate, sc-tate?"²; с ними вместе отбрасываем и сполетанцев. И нельзя умолчать, что в насмешку над этими тремя племенами придумано множество канцон; среди них мы знаем одну правильно и отлично сложенную; сочинил ее некий флорентиец, по имени Кастра³; начинается она так:

Una fermana scopai da Cascioli,

Cita cita sen gia'n grande aina⁴.

После них выполем миланцев и бергамцев вместе с их соседями, в насмешку над которыми, помнится, кто-то пел:

Enti l'ora del vesper,

cit fu del mes d'ochiover.

После них отвеем аквилейцев и истрийцев, резким голосом изрыгающих: "Ces fastu?" И с ними вместе выбрасываем мы горные и деревенские говоры, как, например, казентинские и фраттские⁵, неправильностью ударений звучащие явно вразрез с произношением горожан. Выбросим также сардинцев^б (как неиталийцев, но которых, видимо, приходится

причислять к италийцам), поскольку единственно у них нет собственной народной речи и они подражают латыни, точно обезьяны людям; ведь они говорят "domus nova" и "dominus meus".

ХII.

Несколько отшелушив местные итальянские наречия и произведя сравнение между оставшимися в сите, отберем поскорее более почтенные и почетные. И первым делом обследуем сицилийские особенности; ибо сицилийская народная речь явно притязает на преимущественную перед другими честь, потому что всякое стихотворение, сочиняемое итальянцами, именуется сицилийским¹ и потому что многие тамошние мастера пели возвышенно; вот, например, в таких канцонах²: "Anchor, che l'aigua per lo focho lassi..." и "Amor, che lungiamento m'ai menato". Но эта слава Тринакрийской земли³, если правильно усмотреть, на что она направлена, осталась, очевидно, лишь на поношение итальянских государей, которые поступают в своей гордыне не как герои, а как простолюдины. Действительно, славные герои - цезарь Фредерик и высокородный сын его Манфред⁴, являвшие благородство и прямодушие, пока позволяла судьба, поступали человечно и презирали невежество. Поэтому, благородные сердцем и одаренные свыше, они так стремились приблизиться к величию могущественных государей, что в их время все, чего добивались выдающиеся италийские умы, прежде всего появлялось при дворе этих великих венценосцев; а так как царственным престолом была Сицилия⁵, то и получалось, что все обнаруженное нашими предшественниками на народной речи стало называться сицилийским; того же держимся и мы, и наши потомки не в силах будут это изменить. Ракб, ракб!⁶ О чем звенит теперь труба последнего Фредерика⁷? О чем колокол второго Карла⁸? О чем рога могущественных маркизов Иоанна и Адзо⁹? О чем флейты других владык, кроме как - "Сюда, палачи! Сюда, лицемеры! Сюда, корыстолюбцы!""? Но лучше вернуться к начатому, чем попусту разглагольствовать. И мы уверены, что, если нам принять сицилийскую народную речь, следуя речи тамошних рядовых уроженцев, по которой, очевидно, и надо о ней судить, она ни в коей мере не достойна чести предпочтения, потому что течет довольно-таки вяло, как, например, тут:

Tragemì d'este focora, se t'este a boluntate¹⁰.

Если же нам принять именно ее ради того, что она истекает из уст виднейших сицилийцев, как можно судить по вышеприведенным канцонам, то она ничем не отличается от наиболее похвальной, как мы и покажем ниже. Что же до апулийцев, то они либо по собственной резкости, либо из-за соприкосновения со своими соседями - римлянами и анконцами - лопочут по-варварски; вот как они говорят: "Volzera che chiangesse lo quatrato". Но хотя уроженцы Апулии говорят вообще непристойно, некоторые выдающиеся среди них люди выражались изящно, применяя в своих канцонах благородно отделанные слова, как это ясно при рассмотрении их стихов, например¹¹: "Madonna, dire vi voglio..." и "Per fino amore vo sì letamente..." Поэтому отметившим сказанное выше следует заметить, что ни сицилийская, ни апулийская народная речь не оказываются прекраснейшими в Италии, так как мы показали, что тамошние мастера слова отступали от собственной своей речи.

ХIII.

После этого перейдем к тосканцам, которые в своем несносном безрассудстве явно притязают на честь блистательной народной речи¹. И тут упорно безумствует не только простой народ, но, как нам достоверно известно, упорствуют также и очень многие именитые мужи, как, например, Гвиттоне д'Ареццо², никогда не обращающийся к правильной народной речи, Бонаджунта из Лукки³, Галло из Пизы⁴, Мино Мокато⁵, Брунетто из Флоренции⁶; если будет время разобрать их стихи, они окажутся не правильными, но сочиненными исключительно на городском наречии. И потому, что тосканцы больше других безумствуют в этом опьянении, представляется заслуживающим внимания и полезным развенчать одно за другим городские наречия тосканцев. Флорентийцы говорят вот такими стихами: "Manichiamo introque che noi non facciamo altro". Пизанцы: "Bene andonno li fanti De Fiorenza per Pisa". Жители Лукки: "Fo voto a Dio che in grassarra eie lo comuno de Lucca". Сиенцы: "Onche renegata avesse io Siena! Ch'ee chesto?" Аретинцы: "Vo'tu venire ovelle?" О Перудже, Витербо, да и о Читта ди Каstellо из-за их близости к римлянам и сполетанцам я совсем не намерен рассуждать. Но хотя все почти тосканцы и коснеют в своем гнусноязычии, мы знаем, что некоторые из них постигли высоту народной речи, а именно флорентийцы Гвидо, Лапо и еще один⁷, да и Чино да Пистойя, которого мы не по недостойной причине вынуждены недостойно поставить сейчас за ними⁸. Итак, если мы исследуем тосканские говоры и взвесим, в какой степени высококочтимые люди отклонились от своего собственного, не остается сомнений, что искомая нами народная речь не та, какой держится тосканский народ. Если же кто не сочтет возможным утверждаемое нами о тосканцах утверждать о генуэзцах, пусть примет во внимание только то, что, если бы генуэзцы утратили по забывчивости букву "z", им пришлось бы либо полностью онеметь, либо найти новый говор. Ведь "z" занимает главную часть их речи; а произношение этой буквы отличается крайней резкостью⁹.

XIV.

Переходя теперь густолиственный хребет Апеннина, обыщем по следам левую Италию, начиная, как обычно, с востока. Итак, вступая в Романью¹, мы заявляем, что нашли в Италии два наречия, отъединенных одно от другого соответствующими противоположностями. Одно из них звучит настолько женственно из-за мягкости выговора, что, даже если говорит мужским голосом мужчина, кажется все-таки, что говорит женщина. Оно присуще всем романьольцам, и в особенности форлийцам; их город, при всей своей молодости, является, однако, средоточием всей провинции²; они при утверждении говорят "deuscm" и ласково произносят "oclo meo" ("глазок мой") и "corada mea" ("сердечко мое"). Мы слышали, как некоторые из них отклонились в стихах от собственного наречия: это фазантинцы Томмазо и Уголино Буччола³. Имеется, как сказано, и другое наречие, настолько по словам и ударениям лохматое и косматое, что из-за своей грубой резкости не отличает говорящую на нем женщину, но ты заподозришь, читатель, что это говорит мужчина. Оно присуще всем говорящим "magara" ("пожалуй"), а именно брешианцам, веронцам и винчентинцам, а равно и падуанцам, бесстыдно синкопирующим все причастия на "-tus" и существительные на "-tas", как "merst" и "bontй"⁴. С ними мы притягиваем к суду и тревизцев, которые, наподобие брешианцев и их соседей, при усечении слов произносят согласную "u" и как "f", например "nof" вместо "novem" и "vif" вместо "vividus"⁵; это уж мы осуждаем как варваризм. А венецианцы даже и недостойны чести выслеживать у них народную речь; и, если бы кто из них, погрязши в заблуждении, еще бы и чванился, пусть

он припомнит, не сказал ли он когда-нибудь: "Per le plaghe de Dio, tu non venras". Мы слышали, как единственный из них старается отклониться от материнского наречия и обратиться к правильной народной речи - это Ильдебрандин Падуанский⁶. Поэтому, обсудив все сказанное в настоящей главе, мы не считаем ни романьольское, ни ему, как сказано, противоположное⁷, ни венецианское наречие⁸ той блистательной народной речью, какую мы разыскиваем.

XV.

Попытаемся же бегло обследовать то, что остается от итальянского леса¹. Итак, мы говорим, что, пожалуй, не очень заблуждаются считающие болонцев говорящими красивейшей речью, так как они перенимают в свое собственное наречие кое-что от окружающих их имолийцев², феррарцев и моденцев; это же, мы предполагаем, делают и любые другие в отношении своих соседей, как показал Сорделло³ относительно своей Мантуи, соседней с Кремоной, Брешией и Вероной: он, будучи таким великим знатоком красноречия, не только в стихах, но и во всякого рода речи пренебрег отечественным наречием. И действительно, упомянутые граждане от имолийцев берут мягкость и нежность, а от феррарцев и моденцев некоторую гортанность, свойственную ломбардцам, которая, мы уверены, осталась у тамошних уроженцев от смешения с пришлыми лангобардами. И по этой причине среди феррарцев, моденцев и реджийцев мы не находим ни одного стихотворца; ибо по привычке к своей гортанности они никак не могут усвоить придворную народную речь⁴, не придавая ей некоторой жесткости. Еще в большей мере это должно относиться к пармийцам, говорящим "monto" вместо "multo"⁵.

Следовательно, если болонцы берут, как сказано, и оттуда и отсюда, разумно полагать, что их речь путем смешения противоположностей, как упомянуто, остается уравновешенной до похвальной приятности; это, по нашему суждению, несомненно, так и есть. Поэтому, если ставящие их выше по народной речи имеют в виду при таком сравнении только городские говоры итальянцев, мы охотно с ними соглашаемся; если же они считают болонскую народную речь предпочтительной безусловно, мы с ними расходимся и не согласны. Ведь она не та, что мы называем придворной и блистательной; потому что, если она была бы таковой, ни великий Гвидо Гвиницелли⁶, ни Гвидо Гизильери, ни Фабруццо, ни Онесто⁷, ни другие стихотворцы Болоньи не отклонялись бы от собственного наречия; а они были блестящими мастерами и отлично разбирались в народной речи. Великий Гвидо: "Madonna, lo fino amor c'a vui porto..."⁸; Гвидо Гизильери⁹: "Donna, lo fermo core"; Фабруццо¹⁰: "Lo meo lontano gire"; Онесто¹¹: «Piu non attendo il tuo secorso, Amore». Ведь эти слова совершенно отличны от слов болонских горожан.

И потому, что ни у кого, мы полагаем, нет сомнений относительно прочих окраинных городов Италии (а того, у кого они могут быть, мы не считаем достойным никакого нашего разъяснения), нам остается обсудить немного. Поэтому, желая отложить наше сито, чтобы поскорее посмотреть, что в нем осталось, мы заявляем, что города Тренто и Турин, да и Алессандрия расположены настолько близко к окраинам Италии, что у них не может быть чистых наречий; настолько близко, что если бы даже вместо их отвратительной народной речи оказалась бы прекраснейшая, то из-за смешения с чужими наречиями мы не признали

бы ее италийской. Поэтому, раз мы охотимся за блистательной италийской речью, нам не найти у них того, за чем мы охотимся.

XVI.

После охоты в лесных нагорьях и пастбищах Италии и не отыскав пантеры¹, которую выслеживали мы, стараясь ее найти, проследим ее более разумно, дабы ту, которую мы чуем всюду, но которая нигде не показывается, изловить, хорошенько опутав тенетами. Итак, взявшись снова за свои охотничьи снаряды, мы утверждаем, что во всяком роде вещей должна быть единица, по которой мы равняем и оцениваем определенного рода вещи и от которой мы отмериваем и все остальное; так же как при вычислении все вычисляется по единице и называется большим или меньшим в зависимости от того, насколько отстоит от единицы или к ней приближается; и как все цвета измеряются по белому и называются более или менее видными в зависимости от того, ближе или дальше отстоят от белого. И подобно тому, как мы судим о предметах, смотря по их количеству и качеству, можно, полагаем, судить о любом из предикатов, да и о субстанции: то есть всякий предмет измерим в своем роде по тому, что является в данном роде простейшим². В силу этого в наших поступках, поскольку они разделяются на виды, следует находить тот признак, по какому их и надо измерять. Действительно, поскольку мы поступаем просто³ как люди, у нас имеется для этого добродетель (в общем смысле этого слова); ибо по ней мы судим, хорош или плох человек; поскольку мы поступаем как граждане, у нас имеется закон, по которому определяют хорошего и дурного гражданина; поскольку мы поступаем как италийцы, у нас имеются известные простейшие признаки и обычаев, и одежды, и речи, по которым измеряются и оцениваются поступки италийцев⁴. А наиболее благородные из поступков италийцев не составляют собственности никакого отдельного города Италии, а принадлежат им всем вместе: тут вот и можно теперь различить ту народную речь, за которой мы начали охотиться и которая ощутима в любом городе и ни в одном из них не залегают. Она может, однако, быть ощутимее в одном больше, чем в другом, подобно наипростейшей субстанции - Богу: ощутимой в человеке более, чем в животном; в животном более, чем в растении; в растении более, чем в минерале; в минерале более, чем в элементе; в огне - чем в земле; и простейшее количество - единица более ощутима в числе нечетном, чем в четном; и простейший цвет - белый более ощутим в светло-желтом, чем в зеленом. Итак, найдя то, что мы отыскивали⁵, мы утверждаем, что в Италии есть блистательная, осевая, придворная и правильная народная речь, составляющая собственность каждого и ни одного в отдельности италийского города, по которой все городские речи италийцев измеряются, оцениваются и равняются.

XVII.

А теперь следует растолковать, почему мы придаем нашей находке прилагательные блистательная, осевая, придворная и правильная; таким путем мы лучше разясним, что она такое. Итак, первым делом мы откроем, что мы имеем в виду под прилагательным блистательная и почему мы его применяем. Под словом блистательный мы разумеем нечто придающее блеск и ярко блистающее: так именуем мы блистательных мужей либо потому, что они, блистая мощью, придают блеск другим справедливостью и милосердием, либо потому, что они, будучи превосходно наставлены, превосходно наставляют, как, например, Сенека и Нума Помпилий. А народная речь, о которой мы говорим, и возвышена

наставлением и мощью, и возвышает своих приверженцев честью и славой. Наставлением возвышена она, несомненно, потому, что из стольких грубых италийских слов, из стольких мужиковатых ударений вышла, мы видим, такой отличной, такой распутанной, такой совершенной и такой изысканно светской, какой являют ее Чино да Пистойя и его друг в своих канцонах. А величественность и мощь ее очевидны. В чем же больше мощи, как не в том, что она может управлять сердцами людей так, что нежелающего делает желающим, а желающего нежелающим, как она это и делала, и делает. А что она возвышена честью, это бесспорно. Разве слуги ее не превосходят славой любых государей¹, маркизов, графов и вельмож? Это не нуждается ни в каком доказательстве. А как прославляет она своих близких, мы это знаем сами, пренебрегая благодаря сладости ее славы своим изгнанием. Поэтому мы должны заслуженно провозгласить ее блистательной.

XVIII.

Не без основания отмечаем мы эту блистательную народную речь и вторым прилагательным, называя ее осевой. Ибо, подобно тому как дверь всецело зависит от оси и, следуя повороту оси, отворяется или внутрь, или наружу, так и все скопище городских говоров поворачивается туда и сюда, следуя в движении и остановке той, которая поистине является главой семьи. Разве не искореняет она день за днем тернистых зарослей из италийского леса¹? Разве не прививает она день за днем черенков и не пересаживает саженцев? Чем другим занимаются ее ревностные земледельцы, как не упомянутой выполкой и пересадкой? Поэтому она вполне заслуживает такого существенного наименования. А причина нашего названия ее придворной та, что, будь у нас, италийцев, королевский двор, она стала бы палатинской². Ибо если королевский двор является средоточием всего королевства и августейшим правительством для его частей, то и эта речь должна быть общей для всех, а не чьей бы то ни было частной собственностью и ей следует пребывать и обитать при дворе; и никакая иная обитель не достойна такой обитательницы, каковой является народная речь, о которой мы говорим. И поэтому-то пребывающие во всех королевских дворцах всегда пользуются блистательной народной речью; вследствие этого и получается, что наша блистательная речь кочует, как чужестранка, и находит приют в ничтожных убежищах³, потому что королевского двора у нас нет. Заслуживает она и названия правильной⁴, потому что правильность есть не что иное, как проверка того, что надо обрабатывать правилом; а так как прибор для такого рода выверки имеется обычно лишь у высочайших правительств, то и все хорошо выверенное и исполненное может называться правильным. Вследствие этого народная речь, когда она выверена высочайшим италийским двором и судилищем, заслуживает названия правильной. Но ведь говорить, что она выверена высочайшим италийским двором, смешно, раз у нас такового не имеется. На это возразить нетрудно. Ибо, пусть и нет в Италии единого всеобщего правительства, подобного правительству Германии, в членах его, однако, нет недостатка; и как члены упомянутого правительства объединяются единым государем, так членов нашего объединяет благодатный светоч разума⁵. Поэтому считать италийцев лишенными единого высшего управления было бы ложно, так как, хотя мы и лишены государя, у нас есть курия, несмотря на то, что тело ее расчленено.

XIX.

И эта народная речь, которая показана блистательной, осевой, придворной и правильной, есть, мы утверждаем, та самая, которая зовется народной италийскою речью¹. Ибо, подобно тому как найдется некая народная речь, присущая Кремоне, так найдется и некая присущая Ломбардии; и как найдется речь, присущая Ломбардии, так найдется и такая, которая присуща всей левой Италии; и как найдутся все эти народные речи, так найдется и та, которая принадлежит всей Италии в целом. И подобно тому, как одна зовется кремонской, другая - ломбардской, а третья - речью половины Италии, так и эта, принадлежащая всей Италии, называется народной италийскою речью. Ведь ею пользуются в Италии блистательные мастера поэтических творений на народном языке - сицилийцы, апулийцы, тосканцы, романьольцы, ломбардцы и мужи обеих марок².

А так как намерением нашим, о чем говорилось уже ранее, было изложить учение о народном красноречии, начиная с этой самой речи, как самой превосходной, мы будем в последующих книгах говорить о тех, кого мы считаем достойными пользоваться ею, и почему, и каким образом, а равно и где, и когда, и к кому следует ее обращать. Осветив это, мы постараемся осветить и низшие народные речи, постепенно нисходя к той, которая присуща только одной семье.